



С. Г. БОЧАРОВ

Событие бытия

О Михаиле Михайловиче Бахтине

Девяностые годы прошлого века — звездное время рождения наших поэтов и филологов. Бонди, Шкловский, Лосев, Тынянов, Виноградов — одно за другим прошли их столетия (и не так заметно прошли — Пумпянский, Оксман, Пропп). Теперь — Бахтин. словно это была коллективная историческая акция: наша лучшая филологическая наука XX века родилась (физически) в эти несколько лет.

Всех потом суровая эпоха повернула, но, кажется, двое имели бы особые основания продолжить вместе с поэтом: «Мне подменили жизнь. В другое русло, / Мимо другого потекла она»¹. Филологам-философам, Лосеву и Бахтину, подменили жизнь, она потекла у них «мимо другого». На склоне дней Бахтин рассказывал В. Д. Дувакину, что «раньше кого бы то ни было в России», еще в юности, прочитал Киркегора*, в ранней работе об авторе и герое он на него ссылался, — между тем как Лев Шестов в эмиграции впервые слышит это имя от Бубера в 1928 году: «Я вынужден был признаться, что не знаю его, его имя совершенно неизвестно в России <...> Даже Бердяев, который читал все, его не знает»**. Но работа об авторе и герое была последним опытом

* Человек. 1993. № 4. С. 151.

** *Баранова-Шестова Н.* Жизнь Льва Шестова. Paris: La Presse Libre, 1983. Т. II. С. 12. Свидетельство несколько удивительное, поскольку Киркегор в русском переводе П. Ганзена появился еще в конце XIX века (Наслаждение и долг. СПб., 1894), тем не менее свидетельство Шестова таково. Видимо, по каким-то причинам русские публикации Киркегора прошли мимо внимания наших крупнейших философов. Юный Бахтин знакомился с ним по-немецки.

прямого философствования у двадцатипятилетнего автора, и обретаена она была полвека спустя в чулане, в подвале его саранского дома, свет же увидела через четыре года после него. В поименованной плеяде не было никого, кто был бы так неизвестен под семьдесят лет, как был Бахтин в 1963-м, когда так круто повернулась его судьба. Был он к этому времени автором пяти опубликованных за собственным именем работ — одной порядком забытой книги и четырех статей, из которых первая — двухстраничная реплика на большую тему («Искусство и ответственность», 1919) — была, похоже, забыта им самим, никогда ее не вспоминая даже в ответ на прямые вопросы («М. М., что же было еще у вас напечатано?»), и после него уже была раскопана Ю. М. Гельпериним на газетных страницах провинциального Невеля, а последняя называлась «Опыт изучения спроса колхозников» (Советская торговля. 1934. № 3) и обобщала деятельность ссыльного экономиста Кустанайского райпотребсоюза (эту статью как раз охотно автор вспоминал). В чемодане же в том самом чулане слеживались, желтели и разрушались листы его эстетики, философии поступка и теории романа: как это все потом являлось на свет, он уже не увидел.

1963-й стал годом прорыва, и все по щучьему велению переменялось. Состоялось второе рождение обновленной, но старой книги — и она была принята новым временем так, как и свое время ее не приняло то, «свое», время. Состоялась счастливая встреча старого автора с новым временем.

Это было событие историческое — на повороте нашей советской истории. Поворот его сделал возможным, и оно же было свидетельством о повороте. Ведь недаром же эта одновременность с явлением «Одного дня Ивана Денисовича» — недавно об этом вспомнила И. Роднянская*. Но исторические события имеют свою внутреннюю человеческую личную сторону и свое дифференциальное исчисление — видеть их так научил нас автор «Войны и мира». В настоящем случае я был свидетелем этой художественности истории и даже отчасти ее невольным участником. Встреча с новым временем оказалась встречей с нашим поколением, только что вышедшим из XX съезда и своей комсомольско-марксистской невинности. Тогда-то мы и наткнулись на старую книгу о Достоевском, которая нас поразила. И тогда история избрала Вадима Кожина. Видно, оглядываясь назад, что это была та *встреча* в значительном смысле, которую сам Бахтин теоретически описал как универсальнейший «хронотоп». Для нас это

* Диалог. Карнавал. Хронотоп. Витебск, 1994. № 3. С. 19.

стало очень большим событием в жизни, но оказалось, что это стало событием и для него.

В одном из архивных бахтинских текстов, по-видимому начала 40-х годов, записано так: «Неожиданность и непредвидимость правды. Не ждать добра от закономерного и привычного, а только от чуда». Слово он пророчил себе поворот судьбы через двадцать лет. Сколько в нем закономерного и сколько чуда? Или закономерного чуда? Но с наступившим признанием драматизм судьбы Бахтина не остался в прошлом; он стал открываться по-новому, открывается и в судьбе посмертной.

Вскоре уже после смерти его М. Л. Гаспаров заговорил об иронии судьбы Бахтина*. Ирония заключалась в признании через столько лет: он писал для одного времени, а его прочитали в другом. Прочитали, следовательно, неверно и приняли не за того — для Гаспарова это культурологическая аксиома. В другом своем выступлении он заявил, что «душевный мир Пушкина для нас такой же чужой, как древнего ассирийца или собаки Каштанки». Книга 1929 года тоже чужая для читателя 1963-го. В этом трезвом и безнадежном взгляде есть свой пафос, с резкостью отрицающий вместе с бахтинской идеей диалога культур и самое понятие диалога как такового: «Даже когда разговаривают живые люди, мы сплошь и рядом слышим не диалог, а два нашинкованных монолога»**. В свете этого тезиса неприятие Бахтина Гаспаровым очень понятно. Но бесспорен ли тезис — в части как относящийся к диалогу, так и к Пушкину и собаке Каштанке? Можно сослаться на наблюдения столь безупречного лингвиста, как Л. В. Щерба, о том, что «монолог является в значительной мере искусственной языковой формой» и что в омывающих нас потоках речи мы не слышим монологов, «а только отрывочные диалоги»***. Но, разумеется, дело не в эмпирических наблюдениях, а в культурологической позиции. Гаспаровская — в отношении к любой прошедшей культуре (к Горацию или Пушкину, или литературоведческой книге о Достоевском 20-х годов — все равно) *как к чужому языку*, который нужно учить, как английский или китайский (сравнение все из той же программной статьи в журнале «Новое литературное обозрение»); только такое филологи-

* *Гаспаров М. Л.* М. М. Бахтин в русской культуре XX века // Вторичные моделирующие системы. Тарту, 1979. С. 113.

** *Гаспаров М. Л.* Критика как самоцель // Новое литературное обозрение. 1994. № 6. С. 9.

*** *Щерба Л. В.* Восточнолужицкое наречие. Пг., 1915. Т. 1. Приложение. С. 3—4.

ческое понимание всегда чужих культурных языков и возможно (а как М. Л. Гаспаров умеет их читать — все мы знаем). Интересно: Бахтин еще в те самые 20-е под именем Волошинова описывал подобную позицию, правда относя ее в отдаленное прошлое, — как «жреческую»: «Первыми филологами и первыми лингвистами всегда и всюду были жрецы. История не знает ни одного исторического народа, Священное Писание которого или предание не было бы в той или иной степени иноязычным и непонятным профану. Разгадывать тайну священных слов и было задачей жрецов-филологов» (*МФЯ*, 1930, 75)*.

Культурологию Бахтина Гаспаров назвал «неоправданно оптимистической»; в самом деле, в ней есть черты классического прекраснотворения, верящего в культуру (и литературу) как не только язык, но и смысл, имеющий свойство расти во времени, и признающего историческую дистанцию положительной силой, способной освобождать этот смысл из плена его эпохи, его современности. Так четверть века тому назад писал Бахтин в тот самый журнал, куда нынче и я пишу эту заметку о нем, и я помню, как в начале 1971 года М. Б. Храпченко указал мне на эти строки письма Бахтина в «Новый мир»:

«Автор — пленник своей эпохи, своей современности. Последующие времена освобождают его из плена...» ** Я пришел в кабинет академика-секретаря хлопотать о новом переиздании книги о Достоевском, и он, десятилетием раньше поддавшийся на участие в выпуске из бутылки бахтинского джина, теперь отказал, и его аргументом было это самое место из новомирского интервью: «Вы понимаете, что здесь сказано? Что и наш советский писатель — пленник своей эпохи». Третье издание «Проблем поэтики Достоевского» вышло в 1972 году, обойдясь без помощи академика.

Похоже, бахтинская культурология имеет отношение к собственной его литературной судьбе. Успех его книги в 60-е годы был лишь большим запозданием и сплошной аберрацией, по Гаспарову, или освобождением из плена той его современности 20-х годов? Книга тогда очень точно вышла в 1929-м — году великого перелома, когда ее автор уже полгода как был арестован. Книга

* Эта жреческая филология, по заключению автора, определила весь путь философии языка, лингвистики, риторики и поэтики на протяжении веков, вплоть до соссюровского языкознания. Так что сближению весьма современного и авторитетного филолога наших дней со столь древней фигурой, может быть, и не следует удивляться.

** Новый мир. 1970. № 11. С. 239.

была постсимволистским прочтением Достоевского на фоне его прочтения в символизме. Автор одним из первых в России узнал Киркегора, но время памяти о символизме и Киркегоре было на излете в год выхода книги. Время шло мимо нее, она оказалась несвоевременной и не стала событием; она не была прочитана (в эмиграции была прочитана лучше: рецензии П. М. Бицилли, А. Л. Бема, значительная ссылка в «Путях русского богословия» о. Г. Флоровского).

Читательница начала 60-х вспоминает сегодня, что без Бахтина бы не заметила этих слов Аглаи в «Идиоте»: «У вас нежности нет: одна правда, стало быть — несправедливо». «А прочтя их в контексте бахтинской книги, я вспоминаю эти слова, эту мысль едва ли не каждый день» (И. Роднянская). Другой читатель того же времени вспомнил евангельского благоразумного разбойника по поводу главного утверждения книги о том, что никто не может сказать обо мне последнего слова, кроме меня самого, пока я жив (Г. Гачев *). Мы открывали в книге значения, которые переставали звучать — и надолго — в конце 20-х годов и начинали вновь вспоминаться в 60-е, начинало к ним открываться «чуткое ухо», как сказал бы Бахтин. Книга, несвоевременная в свое время, приходилась ко времени в иное, новое время. Теперь она стала событием — и мы знаем каким.

(Попутное замечание — о категории «правды» в бахтинском контексте: она уже дважды встретилась нам на пути изложения — и по-разному очень. «Правда» у Бахтина раздвоена и полярно разная «правда» оценена — что выражается в двух эпитетах, встречающихся в архивных текстах, один из которых уже цитировался: о «непредвидимой» правде, какую, возможно, и Бог не скоро скажет, правде-чуде — это он принимал. Но резко высказывался о правде-силе, «тоталитарной правде» — есть у него такое понятие — и в разговорах любил повторять, что правда и сила несовместимы, правда не может торжествовать, всегда существует в смиренном облике.)

Помню, что сказал Михаил Михайлович в ответ на просьбу, которую я передал от А. М. Кузнецова после смерти М. В. Юдиной, бывшей М. М. близким другом с молодости, — написать воспоминания для памятной книги о ней. Он ответил: «Мария Вениаминовна была человеком неофициальным, и никакие официальные воспоминания о ней невозможны». Официальные — то есть для печати. Но он хотел сказать этим словом и что-то еще.

* Гачев Георгий. Русская дума. М., 1991. С. 108.

Юдина в его глазах принадлежала к скрытому, потаенному пласту культуры, к какому принадлежал и он сам. Юдина, Пумпянский, М. И. Каган, А. А. Мейер, Вагинов — все они, составлявшие близкий и тесный круг Бахтина в 20-е годы, были людьми неофициальными в этом смысле и попросту малоизвестными. Это была подводная жизнь культурной эпохи, почти не имевшая выхода на ее бурлящую поверхность. На авансцене современности эти люди не были, и лишь в последнее время их имена становятся в общем мнении именами высокого ранга. Контраст им в этом отношении составляли знаменитые формалисты, чья деятельность была публичной и громкой, и они принадлежали этому времени полностью, это было их время. Их деятельность тоже была пресечена, но она успела пройти свой цикл. В беседах с Дувакиным Бахтин подчеркивает, что принадлежал к другому кругу и даже с ними не соприкасался. Собственная его работа в 20-е годы была непубличной в принципе: тихая деятельность в домашних кружках, но именно она стоила ему ареста и приговора. О Викторе Шкловском Нина Петровская, брюсовская «Рената» и героиня «Некрополя» Ходасевича², сказала в 1923 году (в рецензии на его «Сентиментальное путешествие»): «...всегда самой судьбой в авангардах»*. Бахтин в те же годы самой судьбой в арьергардах. Категорию судьбы мы вправе здесь понимать по Г. О. Винокуру (столетие — через год) — как «теоретическое начало в истории личной жизни»**. Это теоретическое начало в виде судьбы, возможно, глубже, чем мы понимаем, определяло противостояние Бахтина и ОПОЯЗа в те годы.

«Теоретическое начало» в союзе с ходом истории (и с ним сливаясь, как это бывает на столь значительных путях, каким была биография Бахтина), по-видимому, сработало и тридцать лет спустя, и участники события стали его орудиями, как ни странно, включая отчасти и самого героя. В истории «эпифании» Бахтина читается классический почерк судьбы: он, собственно, сам ничего не делал и был, по моим, во всяком случае, впечатлениям, как-то странно внутренне отрешен от происходивших больших событий, совершавшихся словно бы сами собой, уже без него, помимо него. Он все сделал раньше — написал свои книги, долго ждавшие своего часа и, когда тот пришел, начавшие завоевывать мир.

* Литературное приложение к газ. «Накануне». Берлин, 1923. К № 270. 25 февраля. С. 11.

** Винокур Г. Биография и культура. М., 1927. С. 65.

Но в самом деле эта осуществившаяся судьба обнаружила и свою иронию. Она занесла мыслителя в такие авангарды, в каких он бы вряд ли хотел и предполагал оказаться. В начале 70-х он усмехался, читая французскую критику на то только что там появившиеся переводы двух его книг: получалось, что идеи свободы героя от автора и карнавальная антиавторитарность очень созвучны их студенческой революции. Затем на Западе прочитали Волошинова с Медведевым и с удовольствием констатировали марксистский период в эволюции Бахтина. В отечестве он был объявлен прародителем нынешней семиотики, а на Западе образ его пошел перелицовываться соответственно их методологическим революциям. Все это шло, и продолжает идти, уже без него. И наступившее столетие обязывает взглянуть на, выражаясь канонизированной в так называемое застойное время формулой, «предварительные итоги», включая судьбу посмертную.

Что открывается в этих итогах? Бахтин — в авангарде, литература о нем уже необъятна, но где продолжатели его дела? Не бахтинисты, имя которым уже легион, а те, кто продумывает за ним его мысли и представляет его традицию, его направление, его школу в литературной теории? Решусь назвать у нас два имени — Владимира Федорова и Вардана Айрапетяна *: оба самостоятельно и занято, каждый по-своему, продумывают бахтинские идеи о слове. Но школы Бахтина в теории литературы нет. Как и в литературе о Достоевском: знаменитая книга произвела переворот в мире мысли, но она оказалась не очень нужна нашей армии «достоевсковедов». Направления в изучении Достоевского она не породила, как и в целом школы в литературоведении Бахтин не породил, но породил, к сожалению, бахтиноведение. И сегодня мы должны констатировать странный разрыв между этой новой дисциплиной, бурно разросшейся (вначале на Западе и в Америке, а теперь и у нас) и обособившейся на манер особой секты в науке, и реальными плодами действия его мысли в живом литературоведении (впрочем, этого слова он не любил).

Вероятно, этому парадоксу есть объяснение в природе бахтинской мысли. Вероятно, к созданию школы она не была предназначена. Вероятно, школы в нашем деле образуются вокруг более четкого и компактного круга идей попроще, прошу прощения за это слово. Не избежать тут вспомнить самую ярко оформленную школу в истории нашей науки, с которой в такой неслучайной

* Федоров В. О природе поэтической реальности. М.: Советский писатель, 1984; Айрапетян Вардан. Герменевтические подступы к русскому слову. М.: Лабиринт, 1992.

тяжбе оказалась бахтинская филология (тяжбе, впрочем, больше односторонней, поскольку корифеи ОПОЯЗа книги «Проблемы творчества Достоевского» просто тогда не заметили: реагировавшего на нее Виноградова все же нельзя причислить к школе, а Шкловский реагировал — в книге «За и против» — спустя почти тридцать лет), — формальную школу. Год назад по поводу тоже столетия (Ю. Н. Тынянова) Вл. Новиков высказался, что опоязовская модель «материал и прием» — это главное эстетическое открытие со времен «Поэтики» Аристотеля или — счел автор нужным ввести еще один вселенский масштаб — за все двадцать веков «христианской культурной эры» *. С утверждением столь страстным бессмысленно спорить, потому что все мы знаем от Гоголя, «что значит внутреннее убеждение». Единственно можно спросить: к чему опоязовскому открытию «христианский» контекст? Ощущаемая с неловкостью неуместность эпитета роняет, мне кажется, пафос этого утверждения. Но в самом деле было такое открытие — «материал и прием» — как найденный ключ, простая отмычка к тайне художества. Как Вл. Новиков говорит, на пальцах: «вот сено, вот солома — вот материал, вот прием». Не обсуждая сейчас открытие по существу (теоретически его обсудил Бахтин под именем Медведева на с. 143—161 книги «Формальный метод в литературоведении», заключив, что поэтическая конструкция с точки зрения этого открытия сводится «к голой периферии, к внешней плоскости произведения»), признаем, что да, оно отличалось той простотой, которая словно бы открывает глаза на предмет и обладает (вновь цитируем Вл. Новикова) «максимальной разъясняющей силой». Вокруг такого открытия могла сложиться школа — объединение ярких личностей в целеустремленную группу.

Круг Бахтина в те годы, уже поминавшийся, не представлял собой подобной группы. Также сильные личности объединялись общими философскими интересами, но не научным методом. Коллективной деятельности группы не было — все шли по своим путям (пресловутые «спорные тексты» Волошинова, Медведева и Канаева невозможно считать плодом коллективной работы группы). Центральная же фигура генерировала проблемы, но не дала упрощающих идей и прикладного метода.

Что же вместо этого дал Бахтин? Он открыл довольно обширный проблемный мир, материк проблем, который можно и впрямь помыслить географически — как новые земли на карте гуманитарной мысли. Таково, например, *чужое слово*. Что про-

* Новый мир. 1994. № 10. С. 223.

ще и очевиднее этого факта? И, однако, это почти колумбово открытие в филологии Бахтина. «Выдвигаемая нами плоскость рассмотрения слова с точки зрения его отношения к чужому слову...» (ПнД, 1963, 267). С точки зрения: колумбово открытие как эффект *точки зрения*, меняющей соотношения в том же, кажется, мире. На языке Канта это называлось коперниканским переворотом, и Бахтин по крайней мере дважды пользовался этим словом Канта — один раз по отношению к нему самому, важнейшему для него философу («Мы забыли коперниканское деяние Канта» <ФП, 86>), а другой раз, как все помнят, — к Достоевскому, у которого в первых уже вещах «весь мир стал выглядеть по-новому, между тем как существенно нового, негоголевского материала почти не было привнесено Достоевским» (ПнД, 1963, 65). Так и мир слова стал выглядеть по-новому у Бахтина. А за миром слова — мир других людей, тоже ведь очень простая реальность, но он как будто невероятно возрос в значении и объеме: «...о другом сложены все сюжеты, написаны все произведения, пролиты все слезы, ему поставлены все памятники, только другими наполнены все кладбища, только его знает, помнит и воссоздает продуктивная память...» (Э, 99). Поэзия этих строк на другом полюсе его мысли смыкается с точной и суховатой классификацией типов прозаического слова, изображенной памятной всем читавшим графической схемой; на языке поэтической философии и скрупулезной типологии то же самое: совершенно особое, исключительное философское и филологическое внимание к смысловому весу в нашей жизни *другого человека* и его *чужого слова*.

В одной беседе (28 октября 1972 года) М. М., говоря о классиках европейского искусствознания рубежа XIX—XX веков, в сравнении с нашими искусствоведами, даже лучшими, заметил: «Те были проблемны с начала и до конца». Самого знаменитого, Вёльфлина, при этом не назвал, на вопрос же о нем отозвался, что он «полегче. У него концепция». Проблемность он явно предпочитал концепции: «Например, концепция барокко у Вёльфлина и проблема готики у Воррингера». Различие же понимал в соответствии с внутренней формой греческого «проблема», как ее недавно исследовал В. Н. Топоров: выступание вперед, торчание наружу*. Очевидно, «концепция» для него заключала нечто от сглаживания этих острых значений, то, что он называл (всегда несочувственно) «сведением концов с концами». Сам он к этому

* В предисловии к упомянутой выше книге: *Айрапетян Вардан*. Герменевтические подступы к русскому слову. С. 4.

не стремился, и его главные книги «торчат» как проблемы, не приведенные к наглядному единству. Как ни стараются за него бахтинисты свести концы с концами, противоречия между «Автором и героем» и «Достоевским» и между последним и «Рабле» не случайно бросаются нам в глаза и должны быть признаны самой глубокой характеристикой творчества Бахтина. Он создал свой полифонический роман, и «не нужно превращать его в эпос» (М. Л. Гаспаров). Книги о Достоевском и о Рабле составляют единый проблемный мир по принципу дополнительности: видно, недаром их автор ссылаясь то на теорию относительности, то на квантовую физику, ибо мысль его, состояла в неповерхностном родстве с философско-научными универсалиями нашего века.

Я — читатель Бахтина, и есть у меня в его сочинениях любимые места. Например: «Когда мы глядим друг на друга, два разных мира отражаются в зрачках наших глаз» (Э, 22). В красоте этой фразы — мировоззренческий стиль Бахтина. Стиль «художника в науке» — это слово о герое «Хозяйки» он охотно выписывал в своей книге. Обширный труд об авторе и герое весь об этом — как двое глядят друг на друга. Элементарное, но очень сложное *событие бытия*. Двое — минимум события и минимум бытия; бытия, в котором они могли бы слиться, монологического, так сказать, бытия не знает Бахтин. Не бытие, а событие бытия — его категория. «Я нахожусь в бытии, как в событии...» * Событие — категория сюжетная, художественная. В нашей фразе это скульптурная группа, объем, живая *архитектоника* (будучи озвучена, эта группа даст диалог; в «Авторе и герое» она еще не озвучена). Событие, состоящее в отражении мира в зрачках наших глаз.

Пусть читатель позволит лучше пройтись по некоторым любимым местам у Бахтина, чем пытаться обозревать его мир. Вот еще: «Несказанное ядро души может быть отражено только в зеркале абсолютного сочувствия» (Э, 411).

Человек у зеркала — эта тема проходит через всего Бахтина, и большей частью речь идет о самообмане самосознания, какой ситуация эта содержит в себе: «Из моих глаз глядят чужие глаза» **. Ситуация, замутняющая «оптическую чистоту бытия» (Э, 30) и чреватая явлением двойника. Но «зеркало абсолютного сочувствия» — это ведь что-то иное. Сочувствие нам дается как благодать, так нам сказано; и не это ли происходит у Бахтина с его пре-

* М. М. Бахтин как философ. М., 1992. С. 235.

** Бахтин М. М. Из черновых тетрадей // Литературная учеба. 1992. № 5—6. С. 156.

зумпцией *абсолютного* сочувствия («абсолютный» эпитет в его афоризме — главное слово)? Тютчевское четверостишие — о чем оно, как не о благодатной зеркальности бытия, той, в которой угол падения не равен углу отражения (который нам не дано предугадать)? В произведении Достоевского, на котором особенно (как и на «Двойнике») задерживался Бахтин, есть, кажется, и то и другое зеркало. Человек из подполья у зеркала — это крайний случай одержимости чужим взглядом и оценкой. Но вот что случилось с ним:

«А случилось вот что: Лиза, оскорбленная и раздавленная мною, поняла гораздо больше, чем я воображал себе. Она поняла из всего этого то, что женщина всегда прежде всего поймет, если искренно любит, а именно: что я сам несчастлив».

Она поняла его, минуя сразу все его безобразные оболочки: чем не зеркало абсолютного сочувствия? Но — *абсолютного*, проходящего сразу мимо всего неприятного и противного к скрываемому ядру души, в самом деле — иному и лучшему.

Книга о Достоевском о том написана, как человек нуждается в признании его другим человеком. Это наша человеческая, «слишком человеческая» потребность — но творчество Достоевского, по Бахтину, представляет собой ее оправдание. Святой Акакий Акакиевич «на себя почти никогда не глядел и даже брился без зеркала». Достоевский начал с того, что заставил Макара Девушкина созерцать свою наружность в зеркале, и это стало началом всего — деформаций и тупиков, но и проникновений и взлетов самосознания. Другого, конечно, качества святости, чем герой «Шинели», искал для себя и своих героев Толстой. Как мне не бояться людей и их суда, не зависеть от их похвалы, не нуждаться в признании? У Толстого это решается одиноким путем ухода — но решается ли? «Чем меньше имело значение мнение людей, тем сильнее чувствовался Бог». Это итог «Отца Сергия». Отец Сергей ушел от людей до растворения в безвестности безымянного существования. Но в радости, которую он испытывает, когда потерявшим имя странником на большой дороге принимает подаяние и слышит разговор господ о нем по-французски, *который он понимает*, — в радости этой не может не быть опять шевеления гордости если не самого героя, то автора за героя, Толстого, так мощно выписавшего его безмерное превосходство, его величие в эту минуту. Так есть ли куда уйти от оценки людей, пусть в виде самооценки или оценки героя автором?

Лидия Яковлевна Гинзбург в одном разговоре высказала афористически то, о чем писала в своих замечательных книгах. Она сказала, что сознавать себя по Достоевскому интереснее, а по Тол-

стому важнее. Я пытался отвечать, что это как сказать и что это дело выбора. Выбором Лидии Яковлевны был Толстой, Бахтина — Достоевский. Можно их принимать и обоих, знаю это не по одному хорошему читателю, тем не менее типичная ситуация выбора, видимо, возникает не даром и у читателей тоже столь сильных. Бахтин бывал к Толстому несправедлив, оттого что не был к чему-то главному в нем расположен. Это главное он сформулировал за Толстого так: «Мне надо одному самому жить и одному самому умереть» (Э, 314). «Обойтись с самим собой» — формулирует он уже для героев Достоевского, причем для таких героев, как господин Голядкин и человек из подполья. «Обойтись с самим собой» хотят и герои иного, гордого типа — Ставрогин, Иван Карамазов. Обойтись без признания, без *утверждения* другим человеком, какое подарила Лиза подпольному герою, приняв его как несчастного человека, но он такого утверждения любовью, в обход его самоутверждения, принять не смог. «Обойтись» так — как будто значит обойтись без чужого мнения, взгляда, оценки, и разве не хорошо обойтись без этих малопрятных вещей, без зависимости от них? Но как бы не потерять вместе с этим и что-то необходимое и дорогое, отвечают Достоевский—Бахтин. Не потерять бы и зеркала абсолютного сочувствия, которое нам дается как благодать в ответ на нашу заинтересованность во мнении, взгляде, оценке. В такой заинтересованности, нужде в другом человеке — наша слабость и зависимость, но и шанс на проникновения и прорывы. Достоевский знал толк в таких вещах и без своего разбирательства в неприятных амбициях не пришел бы к своим духовным сияниям. Он не сказал бы, как Толстой, что чем меньше значит мнение людей, тем ближе Бог. «Толстой всю жизнь искал Бога, как ищет его язычник, природный человек», — писал Н. Бердяев — Достоевского мучила тема о человеке, он не был теолог, он был антрополог. «Поистине, вопрос о Боге — человеческий вопрос. Вопрос же о человеке — божественный вопрос, и, быть может, тайна Божья лучше раскрывается через тайну человеческую, чем через природное обращение к Богу вне человека» *. И Бахтин не теолог, он антрополог и глубочайшую тайну просматривает сквозь «событие» отношения одного человека к другому; а событие это, как он формулирует, — в «абсолютной нужде» одного человека в другом (а это последнее слово у Бахтина тяготеет, как и слово «автор», к повышенному статусу и заглавной букве, которая и про-

* Бердяев Николай. Мирозерцание Достоевского. Paris: YMCA-Press, 1968. С. 20—21.

рывается в «Авторе и герое»: «отпущение и благодать нисходят от Автора» <Э, 71>).

О любви как силе художественной — еще одно дорогое место у Бахтина, и он здесь снова поэт. «Только любовь», — повторяет он, ритмируя кусок своей философской прозы: только любовь способна «удержать и закрепить» многообразие бытия, «не потеряв и не рассеяв его, не оставив только голый остов основных линий и смысловых моментов. <...> Равнодушная или неприязненная реакция есть всегда обедняющая и разлагающая предмет реакция: пройти мимо предмета во всем его многообразии, игнорировать или преодолеть его. Сама биологическая функция равнодушия есть освобождение нас от многообразия бытия, отвлечение от практически не существенного для нас, как бы экономия, сбережение его от рассеяния в многообразии. Такова же и функция забвения.

Безлюбовь, равнодушие никогда не разовьют достаточно силы, чтобы *напряженно замедлить* над предметом, закрепить, вылепить каждую мельчайшую подробность и деталь его» (ФП, 130).

«...Привожу подробности / жизнь подробна / промедление жизни подобно...». Жизни, не смерти! Так, того не ведая, вторит нравственной философии семидесятилетней давности поэт наших дней — Людмила Петрушевская в ее волшебном «Карамзине». Но на эту тему — «жизнь подробна» — есть стихотворение-источник, синхронное безвестной тогда философии Бахтина.

«...Кому ничто не мелко, / Кто погружен в отделку / Кленового листа...». Случайность ли, что два эти текста, философский и поэтический, возникли одновременно (на границе 10—20-х годов)? Не рождены ли они единым жизненным порывом (*élan vital*, поминаемым в той самой философии поступка) мысли, поэзии и истории? За этими текстами — и синхронная у двух авторов (хотя и вполне раздельная) ориентация на философию Марбурга*: за поэзией философии Бахтина и философией поэзии Пастернака. Главное же — синхронность мировникающего любовного пафоса, поэтически-философского оптимизма, обоснованного более космологически у поэта и более антропологически у мыслителя. Синхронность идеи о детальной разработке мира как действию в нем космически-человеческой, божественной силы любви. «Ты спросишь, кто велит? / — Всесильный бог деталей, / Всесильный бог любви...» Вероятно, «в родстве со всем, что есть», бахтинская

* См.: *Библер В. С.* Михаил Михайлович Бахтин, или Поэтика культуры. М., 1991. С. 45.

мысль была и с научными (о чем выше шла речь), и с поэтическими движениями эпохи.

Но философия поступка осталась тогда не востребованной вплоть до ее посмертного опубликования, и Пастернак ничего о ней не узнал. Он лишь поразился, прочитавши книгу «Формальный метод в литературоведении», и со своей восторженностью писал П. Н. Медведеву 20 августа 1929 года (когда Бахтин уже был приговорен к пяти годам Соловков и ждал решения своей судьбы и помощи от Е. П. Пешковой — и дождался, между тем как Луначарский тем не менее писал о нем похвальную статью): «Я не знал, что вы скрываете в себе такого философа» *. Но не востребованным слишком многое остается и по сейчас — например, замечательная бахтинская *теория интонации* как первичного экзистенциального момента высказывания, определяющего всю его «музыку», выводящего слово за его словесные пределы: «В интонации слово непосредственно соприкасается с жизнью» **. По существу, не востребована и книга о Достоевском, при всей ее неслыханной славе. Здесь — громадное противоречие судьбы Бахтина, заставляющее задуматься в дни его столетия.

Противоречие в размахе признания и не востребованности по существу. В характере использования, превратившего бахтинские идеи и особенно термины в предметы массового культурного потребления, и неприступности в то же время внутреннего ядра его мысли. В одном разговоре (25 января 1971 года) я спросил М. М., отвечает ли и насколько мыслитель за использование его идей. Речь зашла о возникшей моде не только уже на Ницше, но и на Киркегора. Он сказал, что Киркегор не отвечает, а Ницше все же отвечает. Киркегор, сказал он, не будет вульгаризирован, как Ницше, и не по внешним только причинам, а по самому свойству мысли (тем более Герман Коген, прибавил он, никогда не войдет в моду, он до сих пор очень мало известен во Франции: в разговоре участвовала славистка из Парижа Анни Эпельбуэн).

Этот ответ заставляет подумать, что как-то и сам Бахтин за судьбу своего наследия отвечает. Но за что? неужто за этот вульгарный бахтинизм, что расцвел вокруг его имени? за то, что так подставилась его мысль под успех? Он, не искавший успеха и в максимальной степени в работе своей его не планировавший? А когда пришел успех, он переживал его незаинтересованно и отрешенно — это нам привелось наблюдать, — и в разговорах про-

* Литературное наследство. М., 1983. Т. 93. С. 708.

** Волошин В. Слово в жизни и слово в поэзии // Звезда. 1926. № 6. С. 253.

скальзывало, при нараставшей славе, как будто на жизнь свою в целом смотрел как на неудачу. Я уже рассказывал в печати *, как в разговоре 9 июня 1970 года он судил себя за то, что «не утверждал». В том числе и в книге о Достоевском, в которой он «вилял — туда и обратно». И вообще, «все, что было создано за эти полвека на этой безблагодатной почве, под этим несвободным небом, все в той или иной степени порочно», сказал он, включив сюда и своего «Достоевского». А про нас, своих новых знакомых и не совсем еще старых тогда филологов, отозвался с сомнительным одобрением: «Вы, во всяком случае, не предаете. Если вы не утверждаете, то это потому, что вы не уверены. А я вилял — туда и обратно». То есть — с нас и спроса нет, он же мог утверждать — и не утверждал, а значит, предал. В другом разговоре (21 ноября 1974 года) он рассказал, что писал в 20-е годы статью «О непогибших». «Статью ненаучную. Конечно, не кончил и, конечно, потом уничтожил». «О непогибших», то есть так или иначе «сдавшихся» и «вилявших», к каким относил и себя.

Отвечает ли он за бахтинский масскульт? и за бахтинистскую «индустрию» в науке? Конечно, нет, скажем мы — и будем правы; но все же это будет слишком простой и неполный ответ. Сам ведь он научил нас тому, что значит ответственность за поступок — и за его последствия; и резонно спросила американская переводчица Бахтина и автор работ о нем Кэрол Эмерсон в докладе на недавней московской конференции, говоря о его философии поступка: «Раз уж это со мной случилось, согласен ли я подписаться под этим?»

Однако надо, во всяком случае, установить тот главный факт, что при всем размахе, с каким оболочки бахтинских текстов пошли в расход и растворились в массовом потреблении, ядро его мысли остается неприступным и довольно таинственным — *непотребляемым*, говоря тем словом, каким он говорил о неотчуждаемом и непотребляемом ядре личности. Таков и язык Бахтина, как будто прежде всего пошедший в расход, нарасхват. Но тогда-то и обнаружилось, что термины Бахтина не работают (или плохо работают) за пределами его текстов и не годятся для общенаучного употребления. Этим он стал поперек семиотическому движению с его утопией охватить все гуманитарные сферы как «знаковые системы» единой терминологией. Язык Бахтина упорно сопротивлялся этой тенденции, он оказался неотчуждаем, как личность. Это принципиальный и в то же время личный язык, совсем не язык направления или школы. Не входя сейчас в его

* Новое литературное обозрение. 1993. № 2.

исследование, чего он очень заслуживает, заметим лишь, что он насыщенно метафоричен. Из метафоры происходят такие главные бахтинские понятия, как полифония, но хочется отметить особенно такой его метафорический слой, какой американцы Г. С. Морсон и К. Эмерсон обозначили как бахтинскую «прозаику»*. Обыденные житейские положения становятся метафорами духовнейших состояний. «Достоевский, объективируя мысль, идею, переживание, никогда не заходит со спины, никогда не нападает сзади. <...> Даже в памфлете он никогда не пользуется для изобличения героя тем, чего герой не видит и не знает <...> спиною человека он не изобличает его лица» (*ПтД*, 1929, 101—102). «Объектное слово» (прямая речь героя) — слово, как бы само не знающее, что стало объектом (внимания, изображения автором), — оно «подобно человеку, который делает свое дело и не знает, что на него смотрят» (*ПтД*, 1929, 253). Примеры таких «прозаических» метафор можно приводить и приводить из Бахтина, и его «прозаика» — это не только его теория прозы, это существенный слой его мысли. Но прозаические, обыденные состояния, служащие материалом его простых метафор, — это ведь прозаически-экзистенциальные состояния. Бахтин и исследовал их (в труде об авторе и герое) отнюдь не метафорически, как таковые, как переживаемые любым из нас телесные ситуации, заключающие в себе, оказывается, немалую тайну: вспомним просто глядящих друг на друга двоих. В виде ли этого простейшего события или сложного события романа Достоевского — это то же событие нашего бытия. Мир Бахтина экзистенциален насквозь — «от тела до слова» (*Э*, 320).

Бахтин во многом себя от нас утаил — в особенности в позиции по «последним вопросам». В автокомментарии к своей книге он типологизировал героев Достоевского по этому именно признаку: тип живущих «последней ценностью» и «тип людей, строящих свою жизнь без всякого отношения к высшей ценности: хищники, аморалисты... Среднего типа людей Достоевский почти не знает» (Там же). «Среднего типа» мыслителем, уж конечно, он не был. Но мировоззренческое ядро свое оставил непроговоренным. Очевидно, не по советским лишь цензурным условиям (хотя и они, конечно, имели место и свои деформации в его мысль внесли), а по мотивам внутренне принципиальным (не позволяя и нам поэтому судить об этом слишком решительно). Уже в двух своих ранних интимных трудах, написанных на сокровенном и

* *Morson Gary Saul, Emerson Caryl. Mikhail Bakhtin. Creation of a Prosaics. Stanford, 1990.*

чистом языке его философии и, по-видимому, свободных от цензурных приспособлений (они и ждали своего, увы, посмертного для автора часа в том самом саранском подвале, претерпев при этом утрату начал и концов и безнадежно стершихся частей текста), он свернул с магистрального пути русской религиозной философии, и вся оригинальность Бахтина-мыслителя с этим основным фактом связана, им обусловлена. Унаследовав ее проблематику, Бахтин сменил язык философствования, и это была большая смена. Он прошел кантианскую школу самоограничения в последних вопросах и сделал своим философским жанром «феноменологическое описание» того, что он назвал событием бытия. Но язык описания насытил (в «Авторе и герое») теологическими понятиями и в них решал свою эстетику — как ситуацию «эстетического спасения» одного человека другим, героя автором. Эстетика «Автора и героя» — это плотина: заимствую по аналогии эту метафору из статьи Бориса Грифцова о Константине Леонтьеве, поры Серебряного века. Так Грифцов описывал леонтьевский эстетический трактат «Анализ, стиль и веяние»:

«Леонтьев ограничивается только формальным анализом, все детали которого отчеканены. Но впечатление остается такое, что этот формальный и в своей точности достоверный вывод — только плотина, сдерживающая временно поток дальнейших метафизичнейших вопросов и следствий. <...> И как прекрасно это зрелище сдерживаемых следствий, ограничиваемого, но в каждый момент могущего возникнуть метафизического полета»*.

Зрелище сдерживаемых следствий — это особое напряжение мысли и ее особая красота. Автор «Автора и героя» специально оговорил о своей работе, что она «совершенно светская». Но тем самым он дал понять, что она могла бы быть и иной; дал почувствовать нескрытую глубину за текстом. Это не религиозная философия — такой Бахтин не писал; это эстетика, но решаемая в теологических терминах; эстетика на границе с религиозной философией — без перехода границы.

Бахтин экзистенциален и прост — вспоминая любимые из него места, хотелось в этом именно убедиться (но нынче надо уже его таким суметь рассмотреть сквозь туман современной «бахтинологии»). И он же «темен», как Гераклит (как кто-то недавно о нем пошутил — но только ли пошутил?), протеичен, неуловим. «Ядро» его неуловимо в наши интерпретационные сети. Бахтин — проблема в том самом собственном его, бахтинском, смысле — он

* Русская мысль. 1913. № 2. С. 62.

так себя поставил (оставил) по отношению к нам — в большей степени, нежели нам оставил «концепцию». Он нас озадачил: Михаил Михайлович задал нам задачу и не дал алиби от нее уклониться; здесь самое время вспомнить еще одну из сильных его метафор, экзистенциальную тоже, завещанную им не только как философский тезис, но как заповедь: *не-алиби в бытии*.

1995

